

The background of the entire page is a light gray color. Scattered across this background are several semi-transparent, blue, spherical objects. Each sphere has a gradient from a darker blue at the top to a lighter blue at the bottom and is covered with numerous small, white, star-like specks, giving them the appearance of distant galaxies or star clusters. The spheres vary in size and are positioned at various angles, creating a sense of depth and movement.

**Шито
белыми
нитками**

**Иоланта
Сержантова**

Иоланта Сержантова

Шито белыми нитками

<https://litres.ru/73515338>

SelfPub; 2026

ISBN 978-5-00279-099-9

Аннотация

Шито белыми нитками/ рассказы, новеллы, эссе о людях, которые составляют Родину, о героях, которые не ждут наград, о любви, которой, чем больше делишься, тем больше получаешь в ответ.

Рекомендовано для внеклассного чтения.

Содержание

Зимы не миновать	4
Я городской?!	6
Пора	9
Иначе никак	11
Ни прежде, ни после, ни теперь	13
Есть время до заката	16
Каждому...	18
Оно тебе не навредит	20
Крючок	22
Известное дело	24
Обыкновение	26
Он только что был...	28
Павел	30
Остановить поспешность	33
Конец ознакомительного фрагмента.	35

Иоланта Сержантова

Шито белыми нитками

Зимы не миновать

*Всякий жселаёт лучшего больше в других,
нежели в себе
Автор*

С подбородка округи как с краю ведра, вытянутого из колодези, стекают капли дождя. Серые, гладкие, будто морские камешки. И страсть как хочется коснуться их, сыграть на них нечто звонкое, словно на прохладных клавишах фортепьяно, а после набрать в горсть и унести с собой, дабы тешится, перебирая, пряча ото всех свою затаённую радость обладания тем, чего нет больше ни у кого.

Где-то неподалёку расчёсывает чуб о ствол осины олень. Так бы не прознать про то, да всхрапывает от удовольствия слишком громко, заодно хлыстом голой кроны гоняет бескрайнее облако тумана, что пришито суровыми нитками ветвей к горизонту, словно латка на пятке валенка, – не так ладно, как крепко. Сносу ему не будет, тому валенку, как и хмари, что не истреплется раньше весны, не изотрётся нигде.

Глядишь на ту погоду, на помраченье воздуха, и нет бы

самому в сумерки впасть, нагледевшись на скользкие от слякоти тропинки, но будто наперекор набираешь полный вздох радости, ровно храбрости, и – в омут осени, бродить по раскисшему вдоль и поперёк лесу, где и калины не узнать, столь поблек её румянец.

Силясь подняться, лес стоит на распухших коленях пней. Ветер его под руки и ну склонять один ствол к прочим для крепости, – вроде, стоят.

Лещина и жёлуди, листва и смылившиеся бомбошки дождевиков, иглы сосны и лишайники – всё одним коричневым цветом. Стволы деревьев мокры едва ли не до исподнего. На всём – печать уныния, так что даже поганки, кой потеряли свой нарядный вид, вызывают жалость. Их хочется утешить, заговорить, дабы позабыли они про своё растрёпанное положение и простительную об эту пору неухоженность.

Редкий комар, смешавшись, при встрече избегает не то пронзить, но коснуться. И, провожаемый взглядом, невредим добирается он до того бледного, словно выбеленного клубка в укромном уголке чердака, где предстоит ему встретить весну.

Белка, притворивши за собой дверь дупла, устраивается поудобнее. Синица, что расположилась у неё над головой, в дупле мутовкой выше, занята тем же. Они обе знают, что зимы не миновать, так что ж пенять осени на её несовершенство. Довольно с неё и собственных слёз.

Я городской?!

Родители собирались в театр, когда я подошёл к маме с вопросом:

– Мам, а я городской?

Мама, до тех пор снимавшая в расстеленный на коленях платок бигуди, похожие на обёрнутые резинкой куриные косточки, удивлённо подняла подправленные рейсфедером брови, позаимствованным из папиной готовальни.

– Городской. А почему ты спрашиваешь?

– Мальчишки во дворе дразнили Мишку дурнем деревенским.

– А ты что?

– Я вступился, конечно. Что по мне, так он хороший. Утром дворнику помогает уголь к топке таскать, зимой дорожку от снега чистит, которая к сараю, где уголь лежит.

– Да, верно, хороший мальчик... И ты у меня тоже хороший, коли судишь о человеке по его делам. К тому же, знаешь ли, принято считать, что лучшие люди России вышли из глубинки.

– Твоя мама так говорит потому, что сама родилась в деревне! – со смехом вмешался папа, показав намыленную, невыбритую ещё щёку из ванной..

– Как?! – изумился я, глядя на мамино вечернее платье, что отдыхало после уюга зацепившись крючком плечиков

за приоткрытую дверцу шкафа.

– Да так! – рассмеялась мама, – В Козловке я родилась!

– И козлят помнишь?

– А как же! Прыгали они так шустро: с печки на лавку, с лавки на печку.

– Ничего себе...

Честно говоря, я был сражён, ибо в моём представлении люди из деревни просты, работящи, но в общем без особых сложностей и затей. А то, что это же сочетание простоты и ежедневного тяжёлого труда даёт им возможность распознавать настоящее чувство и истинную красоту среди невероятного числа притворного, фальшивого, неискренного и напускного, мне как-то не приходило раньше в голову.

Единственное, что выдавало в маме деревенскую девчонку, так это то, что она слишком часто мыла полы. Но во всём прочем... Любовь к театру, балету, литературе... Я не помню ни одного музея, мимо которого прошла бы мама, не заглянув и не осмотрев подробно экспозиции на всех этажах, снизу доверху, от комнаты реставраторов до запертой на всякий замок двери на чердак. И при этом – постоянное желание самой во всём докопаться до истины, не принимая на веру сторонних мнений...

– Твоя мама деревенская девчонка! В разумных пределах, конечно! – прервал мои размышления отец. – Ну, всё, мы пошли, а ты тут не шали. Почитаешь и спать. Ровно в двадцать один ноль-ноль. По рукам? Запри за нами дверь.

Мне был слышен стук маминых каблучков по дощатым ступеням подъезда, и дальше – под окном, когда они с папой шли по асфальтовой дорожке с выступающими истёртыми, блестящими от того камешками.

Иногда мамина поступь теряла плавность, то она, прижимая к груди маленькую сумочку, в которой лежал надушенный платочек и театральный бинокль, осторожно перебиралась через вспученный, приподнятый кое-где корнями деревьев асфальт... Я знал, что всё именно так, а не иначе, но представлялась мне мама в эту минуту отчего-то совершенно иначе. Босоногой девчонкой с глазами цвета неба, бегущей к реке, где среди камышей в причаленной к берегу плоскодонке сидел тот самый Мишка, что по утрам помогал дворнику. С тем, собственно, я и заснул. Ровно в двадцать один ноль-ноль.

Пора

Соловей мышонком сновал по винограду. Малого размеру его сюртук был чист и ладно скроен, совершенно впору, но так тесно обтягивал субтильное тело, будто жался к нему, что соловей невольно вызывал к себе жалость. Хотя... Из-за чего было б его жалеть? Наряд соловейки был чист, ни единого растянутого шва или выбившейся из подкладки пушинки. Что до окраса, он был в тональности листвы винограда, готовой к переезду в зиму. И соловей был вполне готов к перелёту, в отличие от нас, знающих обо всём, но ни к чему не умеющих быть готовыми.

Будь теперь весна или лето, заместо сочувствия, появление на виду маленькой птахи вызывало бы в окружающих нежную улыбку. И даже когда б соловейка скрылся за занавесом листвы, в ожидании его бесконечных экзерсисов, не сходила б с лиц приятность.

Но нынче, когда спутались день с ночью, когда свечи сутулятся и дышат часто, выказав жаркий язычок, да отражаясь ярким пятном в оконном стекле, мешают разглядеть – что там... Всё не так, всё не по нам. И за окном не цветущий сад, а увязшая в осенней мгле округа. Неприбранная, распухшая от слёз, измученная непостоянством ветра.

Напрасно, по привычке раздвинутые гардины, потрафляют дурному настроению тех, кто не шутя почитает себя нема-

лой, быть может самой важной частью округи. А соловей, что порешил подкрепиться перед отлётом у всех на виду, – не с насмешкой, не перебором, но по простоте, одним своим наивным честным видом, расстарался выказать нечаянную радость, отчего усилилось не меньше, чем вдвое бремя сумрака и тяжесть весомой поступи осени.

– Это ж кто там по лозе вошкается? Не мыша ли? Кота не надо?

– Нет, бабушка, то соловей. Ягоды ест.

– Пора бы ему уже отсюда...

– Пора, бабушка. ваша правда. Пора.

Иначе никак

Ястреб с прозрачным на просвет крылом, едва небо отражалось в его глазах, торопился переступить порог ветки, на которой ночевал, ибо намеревался первым занять самую заметную в округе высоту – обломанную ветром берёзу высотой в двадцать с лишком саженей¹.

Похожая на столп, берёза была куда уютнее всякого столба. Вонзив когти в расцарапанное изломом темя дерева, ястреб смыкал створки крыл по бокам, словно ставни, и чинный готовился внимать округе.

Та, на радостях, тут же принималась жалиться взахлёб. И на хладность весны, и на мало побывшее лето, и на осень, что заявилась по обыкновению, не упредив.

Моргая в такт доносам округи на себя самоё, ястреб открывал в полуулыбке клюв. Будь сия местность ему не по нраву, давно бы решился на перелёт, но она была мила, от и до мила. С ровной степенью приязни обозревал ястреб и осенние залысины дубравы, и вечные кудри ельника, неширокую атласную ленту реки и камеи озёр с вырезанными на них розами облаков, прорехи болот и плохо заживающий рубец дороги, что то мокнет, то сохнет, то пылит, а то и вовсе непролазна.

Коли б ястреб не был собой, думал бы он про то, что славно, когда всем прочим до тебя не дотянуться. Им-то к те-

бе карабкаться, тогда как ты просто можешь снизойти. А можешь и нет. Сверкнёшь оком из-под облаков, да покуражишься, ибо мало места наверху, не для всех оно, для избранных судьбой, не иначе.

Впрочем, к счастью, ястреб свободен от мыслей, которые помешали б ему взлететь. Он сидит на обломанной ветром берёзе, как на столбе, дожидаясь заметного только ему шевеленья с земли, а вороны, что кружат подле, ждут своей очереди оглядеть округу с трона ствола. Какова она кажется им оттуда? Судя по восторгам, которые иные принимают за карканье – более, чем. Иначе никак.

Ни прежде, ни после, ни теперь

У сумерек много дел. Застегнуть на все пуговики дождевиков тропинку, обмахнуть по углам ветошью ветра паутины, ею же перед тем собрать мошек, мух и мелких бабочек моли, что, манкируя осенью, променадничают по свободным от птиц просекам, прогуливая сон, как прогуливают уроки второклашки. Ибо им уже известно, что там и как в классе, можно когда и проветриться, в тайне от родителей.

– Марь Иванна, приболел ваш Витька?

– Чего это? С утра вроде здоровый был! – пугается мать.

– Так не было его в школе...

– Как?!

Ну и получил Витька от матери по первое число, так что до конца десятого класса не пропускал уроков. И поступил в техникум, а отслужив в армии – в институт, после окончания которого его, как молодого специалиста, отправили по распределению на завод, где он и остался. Дожил до своих внуков, а там и до пенсии. Круговорот, понимаешь, детей и взрослых.

Первые ещё не жили, вторые пожили, но будто бы с разных планет, хотя соседствуют бок о бок, на поверхности одной.

Рассматривая одинаковое, видят неодинаково и полагают об нём разное. И не всегда лишь опытность тому причина.

Пожившие принаравливают новое к уже знакомому вдоль и поперёк, удобному от того, противу детского свежего взгляда.

– ...Ну и в чём та свежесть? Уроки пропускать?

– Да не просто так же Витёк из школы тогда сбежал, дело у него было, наиважнейшее.

– Какое такое дело может быть в учебное время!?

– А я расскажу! Дружок он был мой, закадычный...

Накануне, на уроке природоведения учитель бесстрастно и даже несколько бессердечно на Витькин взгляд, поведал про зимующих в укромных местах бабочек и жучков. И Витька, дабы не страдали на морозе его любимицы божьи коровки, ходил по двору и собирал их, откуда только мог. Я наблюдал, как он вытряхивает божьих коровок из почтовых ящиков, из плафона неработающего фонаря и из позабытой слесарем водопроводной трубы. К приходу домой рассерженной матери он уже сидел и «готовил уроки на завтра», а после внушительной порки предъявил родительнице полное ведро божьих коровок, пристроенное в чулане между лыжами и шайкой, с которой семейство по очереди ходило в баню.

– И что мать? Небось выкинула, ещё и за ведро мальчишке наподдала?

– А вот и нет! Марь Ванна не человек, что ли? В следующее же воскресенье отправила Витьку на рынок за новым ведёрком, а однажды по весне весь двор был в веснушках

божьих коровок. Те взлетали которая куда, рассаживались греться под солнышком, а люди смотрели под ноги, дабы не раздавить такую красоту и улыбались, так это было по-настоящему, так празднично.

Дети и взрослые. Первые стараются поскорее вырасти, а вторые – почаще вспоминать, что они были-таки детьми... Впрочем, встречаются и такие, которые тщательно скрывают сей неоспоримый факт. Будто родились они сразу в спецовке, усатыми и промасленной ветошью в кармане.

У сумерек много дел. Полутьма ли это после захода солнца или напротив – предрассветный полумрак, скучать некогда никогда: ни прежде, ни после, ни теперь.

Есть время до заката

*Писатель становится классиком,
когда уходит из жизни последний из его
завистников*
Автор

Вымытое до блеска медное блюдо солнца поставлено ребром на просушку поверх горизонта. Сияет безбедно. Есть ещё время до заката.

Собака с лисьим лицом ржава до красноты, солнцу подстать, облизывается, ловит себя самоё за хвост, кружась. Подсвеченный рассветом лишайник, глядится позолотой, а может это она и есть, но так тонка, что довольно нахмуренного в её сторону взгляда, чтобы облетела, оставив после себя тёмные пятна грусти.

Пустые, засеянные под зиму чёрные поля покоят, сменяя их, чередой являют себя скошенные, будто отутюженные только что, вид которых не в шутку ласкает сердце.

Негаданно – куры копошатся на дальнем огороде, скребут по-собачьи в поисках оставленных, некрасивых на вид, но вкусных, свойских овощей. Собака, что отыскала заплутавших квочек, зовёт их за собой, оборачивается, а те, понятное дело, ни в какую. Есть ещё время до заката, и столько ещё нерасцарапанной когтями земли.

На краю огорода – раскидистое многоквартирное дерево со многими гнёздами, похожими на чёрные папахи, развешенные на ветвях в ожидании новых орлов.

Высокое, хлебное небо обсыпано маком стаи едва видимых птиц.

Соломенная шерсть пригорка, мягкая на взгляд, да жёсткая на ощупь с выбившиеся прядью чертополоха или другой, всё равно какой травы... Осень ровняет их все.

Золотым отливают покосы, рядом чёрный тихий будто пустой лес. Эхо – это всё, что досталось ему от осени. В сумерках подробности сменились на очертания, а ночь избавит взгляд и от них. Но покуда...

Сквозь сито аллеи утро цедит рассвет в чайную чашку округи. Есть ещё время до заката или было, только что.

Каждому...

Скрывая свою наметившуюся едва ущербность за меховым воротом облака, луна исподлобья глядела вниз. Привыкшая к единообразию устройства собственной жизни, она никак не могла свыкнуться с изменчивостью происходящего у неё на виду. Там, на земле, у подножия небес, наступая на пятки рассвета, просыпались и переступали порог своих домов люди, чтобы прожить очередной день так, будто бы несчитан запас отведённых на их долю суток.

Люди щедро делятся днями со всеми, даже с теми, кто им безразличен, со случайными... Родным, пожалуй, достаётся меньше всего. Впрочем, бывает, что именно своим дарят они себя, не оставляя ни крошки за душой, и не ожидая ничего взамен, да после канут в неизвестности, некогда удобные, незаменимые, вечные... ненужные больше никому.

Люди не считаются со временем в детстве, заметно расточительны в юности, вынуждено щедры в зрелые годы, и только после, когда уже ничего и никого не вернуть, когда безнадёжно поздно, они делаются скарредны, и тратят время так, как им никогда не истратить бы в прочие годы. Зрелым дано узреть и ощутить вкус каждого мгновения, сладость и ту калинову горечь, когда всё – как впервые и будто в последний раз.

И вот тут-то, именно в эти считанные часы и годы, хотим

того или нет, начинаем осознавать, что каждый, а значит и мы сами – капля, стежок из которых соткано имя Родины. И нам нет нужды бить себя в грудь и размахивать флагами, чтобы понимать, кто мы такие и откуда, ибо Родина, она как воздух, и по-любому делается тяжело, когда её не достаёт.

Отыскивая на карте стёртый с лица земли родной дом, веришь, что он простоит не одну сотню лет. Не придумали ещё способ принудить позабыть о нём. Он не напоминает об себе непрестанно, не тычет в нос своею важностию, он просто есть, а ты навсегда привалился к нему спиной. И пускай слышен вой ветра за углом и чей-то решительный топот, – дом крепок, и убережёт от ветров судьбы, не позволяя им остудить в нас желание жить так, чтобы хотя чем оказаться полезным той части бесконечности, которой дышим, которой вдохновлены, потому как именно она причина нашей привязанности к месту, где родился, к людям, которые рядом и к тем, которых уже нет.

Луна глядит через тёплый воротник облака на человечество и не может решить, – что ей приличнее: рассмеяться или заплакать, сожалея об себе или о нас. И только верный своему слову Платон кивает согласно капли ускользающих мгновений с соседнего облака, провожает, почитая каждую сквозь прищур веков, шепча неизменное «*Suum cuique*», призывая не стенать беспричинно над тем, чего мы не в силах изменить, а заняться, наконец, делом. Каждому – своим.

Оно тебе не навредит

Сердце стучится в барабанные перепонки, будто в обтянутую кожей молодого дермантина дверь, так что кажется, – кто-то бежит за тобой, дышит в спину и хочет догнать, чтобы... Чтобы что?

Да не пужайся ты так, оно скорее по добру, минуя крамолу – дабы остановить, дать редкий случай передохнуть и переосмыслить. Не прошлое, то уже как бы сверх счёту, но будущее, распорядиться которым, всё равно, что свистеть в ветер: снесёт на сторону и самый звук, и соловья доморощенного с пути враз.

И присядешь эдак на мягкий от недавних осенних ливней пень, призадумашься... Давно ли перестало тревожить отсутствие случайностей, а закономерное их проявление встречаешь со спокойным интересом и вопросом очередному нежданному, но ожидаемому давно гостю.

– Ну, что теперь? – с деланным равнодушием вопрошаешь ты у него, наливая покрепче чаю и ближе пододвигая тарелку с сыром.

Глядя, как теплеет лицо визави, разливается тепло и по твоей душе. Не для того, чтобы потрафить минуте, но из обывавшей вдруг доброты, предлагаешь смущённому радушием визитёру и горохового супу, и котлет, и под испуганным слегка взором гостя – припасённого к празднику пирога.

– Сладкого я – ни-ни, да и после четырёх вечера в рот ничего не беру. Ой... – взглянет он на белый у основания запястья след от часов, – Прошу прощения, что-то засиделся я у вас, – и засобирается вдруг не в шутку разомлевший гость.

Подавая ему кашне, не удержишься спросить, хотя и слышно едва, о причине визита... Он разберёт невнятное, будто во сне бормотание, но не откроется, промолчит и только махнёт рукой, да сокрушаясь об неуместной и не к месту догадливости, лишь глянет серьёзно в самую душу, взвесив на глаз, сколь осталось в ней доброты и скажет, без церемоний, «на ты»: «Поживи ещё, пожалуй. Оно тебе не навредит.»

Крючок

Били его недолго, но с той отчаянной злостью, с которой вымещают на незнакомцах досаду на собственные промахи, горечь во рту от бессилия из-за чужих, не зависящих напрямую от тебя самого проступков, обиду на родных, которым не смели перечить, и близких, что, в свой черёд, без ропота терпели беспричинное поношение и придирки с жалобным, молящим подчас взглядом.

Били его недолго, вкладываясь на выдохе в каждый удар, позабыв о причине и времени, не думая о том, что случится, если... Ну и случилось, само собой. Много ли надо немолодому уже, в годах человеку. Обмякшее тело вынесли, как мешок с мусором, бросили не глядя на помойку вблизи дороги, дабы списать после на несчастный случай, и дождавшись пересменки, сдали оружие и разошлись по домам отсыпаться.

Спалось ли им, думалось ли? Судя по тому, как после – спалось... Не дрогнула душа, коли и была когда. Вышла, не простясь.

Соблюдая приличия, на похоронах силились вспомнить и сказать о покойном что-то хорошее, но всё больше молчали. Шёпотом поговаривали об оставленных им некогда в другом городе детях, сбежавшей из-за ежедневных побоев жене, об истлевших в чемоданах миллионах советских рублей и убогой обстановке квартиры. Соседи на поминках с удивлением

замечали потасканную, вынесенную за ненадобностью собственную мебель в стенах нежилой квартиры.

Единственное, в чём оказались единодушны собравшиеся выпить по случаю траура, была феноменальная память почившего. Не на числа или даты, но на нравоучительные басни Крылова, которые он знал все до единой и декламировал язвительным, злорадным голосом. Таким же, лишённым бесстрастия манером, судии читают приговор своим школьным недругам, причинившим им немало слёз в детстве.

Людей раздражают всякие поучения, кроме исходящих от них. Теми гордятся, бравируют, пестуют собственное умение вставить словцо в неподходящий момент.

А покойный был тот ещё педант и пожалуй что хвастал своим прозвищем, – Крючком звался он и за глаза и так. Будто то, сниспосланное ему менторство, возносило его над прочими, ибо почитал за долг указать на неправильное, где бы не повстречал. Цепляясь ко всему и всем, словно крючок, он читал длинные нотации, потрясая перед носом провинившегося крючком загнутого артритом указательного пальца.

Били его недолго. Выбили всю дурь, вместе с дыханием, хотя ни у кого нет такого права – отнимать чужую жизнь прежде своей.

Известное дело

Всякому желается оставить об себе добрую память, след, начертать своё имя на скале вечности. Не миновала того и лесная козочка.

Белым мелком пуховки обмахнув щёки округи, метнулась она в чащу, выписала нечто мельком по белёсому листу тумана. Кренделя да завитки, волнами долгими. Не скрипнув даже половицею лесной подстилки, кругом по воде разбежалась косуля, слилась с далью.

И будто не было её вовсе, почудилась та краса. И не в её коротком густом мехе запутались зубья щётки ветки сосны, и не прилип обмёрзший листочек мяты к мокрому носу, и не хрустнула под каблучком копыта раковина ракушки, что поленилась забраться под одеяло земли на десять вершков³, порешив опрометчиво, что и двух будет довольно. Да прогадала вот.

Или и это тоже привиделось всё?

Бесстрашное комариное облачко парит подле пустого дупла, и прежде как свернуться клубком, конаются у ближней ветки комаришки – кому дремать в серединке, которым с краешку.

Летит ворон над лесом, будто воды в рот набрал, тих противу обыкновения, будто призадумался. Об чём его думы? Так то, как у всякого: про сударушку, что до луны его в гнез-

де дожидается, сорит с досады пером; про деток, что возмужали, а не выросли, не набрались покуда ума-разуму; про то, как зиму пережить, с чем Евдокия встретит и чем латать по весне простуженное на семи ветрах холостяцкое гнездо.

Ну и доверху, дабы уж вовсе, – холодно ли окажется грядущее лето... Тем жизнь и полнится, что всякому дано. Известное дело. Ничего, кроме. Без лишку. Раз в раз.

Обыкновение

Едва ли не с Ильина дня, когда ночи делаются особенно холодны, синицы не без корысти принимаются навещать друг друга с гостинцами, укрепляя нужные знакомства и налаживая растянувшиеся за весну с летом родственные связи. Расслабленные зноем, они тянутся подобно жемчужному лаку, кой насаждают, где бы ни появились, улитки

– Как зимовать будем? – вопрошают гости хозяев чуть ли не с порога дупла.

– Так как?.. Как обыкновенно... – растерянно разводит крылами родня.

– Не вижу причин для волнений. – замечает ответственная персона, утирая влажный затылок о высокий воротник перьев.

А гости, что и сами не промах, коли загодя взыскуют заступничества, принимаются загибать перья, приводят примеры того, что не так всё просто, как в прошлые, слетевшие в вечность лета, нынче иначе всё.

– Ну, или не вовсе уж всё, но отчасти! Верно, говорю я вам! – добавляют они, возмещая собственную дерзость милым поклоном чуть вбок, как это делают состоявшиеся, но неуверенные в том птицы.

Чуть позже, уже в сентябре, когда по причине не первых заморозков к ногам деревьев брошен ковёр сотканный из

лоскутов листвы, что слетает с округи вместе со спесью, и прохлада ночей не отдохновение уже, но неудобство. Не в шутку желается пернатым не простору вокруг себя, а слышать подле сладкое дыхание и родного тёплого плеча рядом.

– Где там у нас кормушка спрятана, погляди!

– Не рано ли?

– Может оно и рано, да вовремя. Вишь, синицы тревожатся, по окнам стучат, будто будят, вопрошают – ожидать им от нас чего или искать где в другом месте столоваться.

– Они занятные.

– Таки пойду, сыщу, нечего им по чужим дворам шариться. Дом есть дом, не как жилище, но как обыкновениеб.

К слову. Разве может быть синица неуверена в том, что она птица?! И отповедью, – да всякий ли человек вполне понимает, кто он есть?! То-то и оно.

Он только что был...

– Отчего снег мокрый?

– Плачет...

Автор

Тёмный лес увяз в пелене тумана, как subtilный деликатный со всех сторон паук в чужой, неудобной ему, густой грубой во всех смыслах паутине. Тянет неловкие лапы веток, пытаясь освободиться, да накрепко пленён, не отпускает его от себя, прижимает крепко, оборачивает коконом.

Точно эдак завёртывают младенца в чистые лоскуты, дабы не тревожил себя собственными, непознанными покуда побуждениями. А то как взмахнёт ручонками перед лицом, напугается того, поди после успокой. Он-то себя, должно, мнит центром вселенной, хотя сам – на манер размокшей горошины, слабый ещё, да хилый.

Это ж какого страху можно натерпеться, воображая об себе лишнего! Коли, к примеру, представляешься себе кудрявым статным красавцем, а на деле сутулый, незаметный, лысоватый доходяга. И узловатыми пальцами некогда ладных по младости рук пытаешься наспех привести себя в порядок, которого, коли по совести, коли не бывало в юности, теперь и не увидеть никогда.

Насколько хороши мы, окидывая себя внутренним оком,

настолько напротив со стороны.

Впрочем, бывает иначе подчас. Тот же тёмный осенний лес встрепенётся когда, тронутый рукой нечаянного уже расцвета, и сделается прелестнее себя самого весеннего.

Жить, не оглядываясь на чужие превосходства, доводя данное тебе до совершенства – это ли не подлинная власть над судьбою? Не споры с нею, но умение применить с умом имеющееся, – не этого ли добивается от нас тот, чьё имя поминаем всуе не по злобе, не из упрямства, но из одного лишь недомыслия. Званный по пустяку, не отвлекаем ли мы его от важного?.. И... что может быть существеннее наших пустяков!

День ночь не спал, тягал до слёз колосья тимофеевки из ноздрей, рвал начёс сухой травы вдоль пробора дороги. Снег стенал совместно, плакал тихо над своею незавидной участью. Он только что был, парил над землёю, и вот уже не видно от него даже следа, смешался с нею навек...

Павел

– Милый, ты не выметешь ли внизу, а то туда уже заходить боязно... – с милой гримасой попросила меня жена.

– Не поемши?! На голодный желудок?! Уморить меня решила? – шутейно злобствуя, навис я над супругой, но та мило сморщила носик и улыбнулась:

– А я пока на стол соберу... – сказала она и чмокнула меня в щёку.

Ну, что ты будешь делать... Жена ж! Подруга жизни...

Зарядивший с ночи дождь мешал мне завершить приготовления к зиме во дворе, и я порешил потрафить дрожайшей половине, да вымести, наконец, в сухой, просторной, и невзирая, что совершенно без окон, на удивление светлой комнате под домом.

Начав со ступеней, я спустился вниз и увидел его, сидевшего на корточках, привалившегося боком к уголку:

– Павел?, это ты здесь?

Он встретил моё появление без удивления, досады или негодования, но просто дал понять, что заметил, принял, так сказать, к сведению. Мол – зашёл, ну и Бог с тобою, – твой дом, твоё дело.

Обыкновенно, где бы мы не увидались, он поднимался и шёл навстречу поздороваться, расспросить о житье-бытье. Касался руки и внимал всякой от меня ерунде. Но не нын-

че. Я пригляделся к нему внимательно. Лихорадочный блеск глаз выдавал в нём нездоровье и в тот же час странным манером скрашивал его отталкивающую или, что вернее, неприемлемую в прочее время наружность.

– Нездоровится? – сморщившись из сострадания, поинтересовался я, но он лишь шаркнул ногой, выказывая нетерпение, отчего я поскорее принялся за уборку, то и дело поглядывая на его перекошенное гримасой страдания лицо.

Стараясь не обеспокоить постояльца, стеснённой и не вовремя опрятностью, я сперва вычистил все дальние от болящего места, но, как ни оттягивал, был принуждён подобраться, всё же, ближе.

Судя по тому как на нём был пояс из собачьей шерсти, быть может, его одолевала простудная ломота в членах или иная какая подобная хворь. Ловко, накрест, намотанный округ округлостей шерстяной наряд придавал ему вид собранного на прогулку дитяти, насупленные брови которого выдавали в нём желание вот-вот расплакаться или слишком туго стянутую няней под подбородком завязку

Я замешкался ненадолго, располагая, – как подступиться завершить уборку, не потревожив больного, когда супруга, не дозвавшись меня к стынущему уже на столе чаю, спустилась поглядеть, чем я так сильно занят. Подойдя ближе, она, как это свойственно всем дамам и девицам, вскричала в полном ужасе на высоких тонах «Паук!!!», и выбежала вон.

Пользуясь моею неаккуратностью, хлопотами по хозяй-

ству во дворе и запущенным от того домом, паук был весь в собачьей шерсти, частью самовольно приставшей, частью собранной им самим, и потому казался втрое больше себя самого.

Мы с пауком переглянулись и дуэтом переведя дух, продолжили заниматься каждый своим. Догадливый и расторопный, павел переступил с неметённого ещё на чистое, предоставляя мне завершить начатое, и лишь убедившись, что уже можно, вернулся в свой уголок.

Мне же ничего не оставалось, как отправиться наверх – успокаивать жену и чаёвничать. За будущность восьмилапого и восьмиглазого приятеля я был теперь покоен. Хозяйка не сунется сюда до Пасхи, а скорее всего мне снова выпадет выметать низ вместо неё.

Такова она, мужеская доля – во всём ублажать жену. и не обижать того, кто слабее. Даже паука.

Остановить поспешность

В который уж раз отирая набрякшие щёки округи от слёз мокрого снега, ветер почти что рассержен. Ему б уже давно уйти, и возвратиться лишь ко второму снегу через месяц после первого, а ему толкись тут, изворачивайся, и минуя правду, утешай округу. И мила-то она, и хороша по всем статьям. А ведь об эту пору оно вовсе не так! Помимо прелестей, заметны все до единой огрехи самодовольства. И неряха она, и горячка, и себя важнее прочих держит.

Да и что в ней такого? Коли без затей и экивоков – проста, как есть проста. Ежели неприкрыта накидкой зелени, не обряжена в золото, либо непокрыта шерстяным платком снегов, то не ошибёшься, коли причислишь её к дурнушкам. Ни тебе кружев юбок морских волн, ни изразцов каменных берегов, ни долгих мягких игл сосен. А что до чертополоха – и смех, и грех: мелок, как та лещина⁸, не в пример приморским платиновым бутонам с волошский орех⁹.

Ну и, поверх всего, умалчивают о чём, – той самой весною, которой ожидают иззябшие и истосковавшиеся по теплу, уж больно дурён идёт дух от леса, будто залежалым невымытым тряпьём, что нерадивая хозяйка сваливает в сенях до тепла, покуда уж то не истлеет.

Ну, так и что же? Нешто мы любим мать меньше, когда от неё не дождаться уже ни молока, ни сил. Помня полученное

давешнее добро, тешимся тем, что она есть, и большего нам не надь.

Так и с округой. Кто, как не она, расстилала свои поляны для мягких, нерастоптанных покуда босых ног в детстве, и не считаясь с убытком, давала понять через себя мир.

...И утирая мокрые насквозь её щёки, не след томиться, но оставить спешить в недостижимое повсегда куда-то, присесть рядышком, приобнять её за плечи, и, покачиваясь тихонько, спеть нечто навроде колыбельной, что некогда, давно, сочинилась на ходу для новорождённого сына, и поётся в сердце по сию пору, сколь ни было бы ему, и тебе, и вам...

– Миленький сыночек... лучше всяких дочек... бай-бай, бай-баю-бай, спи, мой милый, засыпай, маленькие глазки, мамочкины сказки...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.